





# Михаил БУЛГАКОВ



## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РОМАНОВ, ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство  
АЛЬФА-КНИГА  
Москва  
2018

УДК 82-312.9(02)  
ББК 84Р6  
Б90

Серия основана в 2007 году

Иллюстрации  
**А. Акишина**

**Булгаков М. А.**  
Б90 Полное собрание романов, повестей и рассказов в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1247 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0167-3

В данный том собраны романы, повести и рассказы одного из самых загадочных и талантливых русских прозаиков — Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 — 1940), чьи произведения вошли в золотой фонд мировой классики.

УДК 82-312.9(02)  
ББК 84Р6

ISBN 978-5-9922-0167-3

© М. Булгаков. Наследники, 2018  
© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

---

**ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА.  
МОРФИЙ**

---



## ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смиренно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаю, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П...по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, синенькими губами, — нужно п...привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, — пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с глубокими ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука оказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шархнув меня по ногам.

— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроногая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм...



— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне посевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу-ты, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слышал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные поло-

жения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательна грыжа. Что за невращения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу — инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», — тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказание?.. Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пушай. Пушай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку?... — переспросил я. — Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом пояснила Аксинья, — мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

\* \* \*

Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежеспавнувшей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

— Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верха разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидел, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, — подумал я, — тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет...

Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет, — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще, — хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. — отчаянно подумал я. — Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю... Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, когда я кончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни

одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на груды торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, — но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость.

«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Всё это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... Не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдился. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полуруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.

— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: «Умерла...»

Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раздастся стук...»

\* \* \*

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу.

— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

---

# БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

---





*Посвящается  
Любови Евгеньевне  
Белозерской*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!

*«Капитанская дочка»*

И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...

### 1

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь,

стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик Бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец, И маму закопали. Эх... эх...

\* \* \*

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду scarлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанскою Дочкою, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плащущей, молвила:

— Дружно... живите.

\* \* \*

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему, — молодому врачу — двадцать восемь лет. Елене — двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу, — тридцать один, а Николке — семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воеет и воеет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

\* \* \*

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

— Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

— Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

— Что сделаешь, что сделаешь, — конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) — Воля Божья.

— Может, кончится все это, когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? — неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

— Тяжкое, тяжкое время, что говорить, — пробормотал он, — но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава рыски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

— Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. — Большой грех — уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, — он говорил все увереннее. — Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше всего богословские...

Он приподнял книгу, так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:

— «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».

## 2

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбинных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

— Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

— Вот бы подстрелить, чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю — это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

— А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь.

Союзники — сволочи.

Он сочувствует большевикам.

Рисунок: рожа Момуса.

Подпись:

Улан Леонид Юрьевич.

Слухи грозные, ужасные,

Наступают банды красные!

Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папаче с синим хвостом.

Подпись:

Бей Петлюру!

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинского — красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

Елена Васильна любит нас сильно.

Кому — на, а кому — не.

Леночка, я взял билет на Аиду.

Бельэтаж № 8, правая сторона.

1918 года, мая 12 дня я влюбился.

Вы толстый и некрасивый.

После таких слов я застрелюсь.

(Нарисован весьма похожий браунинг.)

Да здравствует Россия!

Да здравствует самодержавие!

Июнь. Баркарола.

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной *Абрам Пружинер*.

1918 года, 30-го января

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с гро-

мадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе — в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, — столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроугольный трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

— А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там... Трень-та-там...

Сапоги фасонные,  
Бескозырки тонные,  
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах — жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйте, дачники,  
Здравствуйте, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут — ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадил училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйте, дачники,  
Здравствуйте, дачники,  
Съемки у нас давно уж начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

— Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились — пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной — приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище; в глазах — напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.

— Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

— Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

— Ну да, тебя там не хватало...

Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли — самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу — коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфектной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы,

масло в прозрачной масленке, в сахарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?.. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленюю остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».

Не читает Елена.

Николка наконец не выдерживает:

— Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и искажился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и — тонк-танк — идет к четверти одиннадцатого.

— Потому стреляют, что немцы — мерзавцы, — неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

— Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? — Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

— Ничего не известно, — говорит Николка и обкусывает ломтик.

— Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

— Нет, не слухи, — упрямо отвечает Елена, — это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.

— Чепуха.

— Подумай сама, — начинает старший, — мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.

— Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

— Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

— Так, по-вашему, Петлюра не войдет?



— Гм... По-моему, этого не может быть.

— Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

— Но боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...

— И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

— Почему же его нет?

— Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

— Революционная езда. Час едешь — два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

— Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ — вот он. Пожалуйста:

Союзники — сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили — раз, и тотчас же часам ответил залиvistый, тонкий звон под потолком в передней.

— Слава богу, вот и Сергей, — радостно сказал старший.

— Это Тальберг, — подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

\* \* \*

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

— Здравствуйте, — пропела фигура хриплым тенором и заочневшими пальцами ухватила за башлык.

— Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказа-

лась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

— Откуда ты?

— Откуда?

— Осторожнее, — слабо ответил Мышлаевский, — не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

— Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

— Ах, боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

— Ну, конечно... Полно. Кишат.

— Вот что, — испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. — Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие шегольские сапоги с пряжками на икрах.

— Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду — пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...

Наст... банд...

Влюбился... мая...

— Что ж это за подлецы! — закричал Турбин. — Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?

— Ва-аленки, — плача, передразнил Мышлаевский, — вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

— Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:

— Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

— Неужели же отрезать придется? Господи... — Он горько закачался в кресле.

— Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана вся Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

— Гетман, а? Твою мать! — рычал Мышлаевский. — Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал — пропадем все... К матери! На сто саженой офицер от офицера — это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

— Постой, — ошалевая от брани, спрашивал Турбин, — ты скажи, кто там, под Трактиром?

— Ат! — Мышлаевский махнул рукой. — Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра — полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля — переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голо-

сом) — и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

— Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

— А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах, Трактир — верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется — ползут... Ну, думаю, что будем делать?... Что? Вскинешь винтовку, думаешь — стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь — в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь — каюк. И под утро не вытерпел, чувствую — начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех поехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют — перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази, — стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты — в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

— А! Наш, наш! — вскричал Николка.

— Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил Турбин.

— Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, утром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связизшка с Постом-Волынским, — дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то, к чертям.

— Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

— А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богосноцы достоевские! у-у... вашу мать!

— Господи боже мой!

— Да-с, — хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу, — сменились мы, слава те господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать...

— Как! Насмерть?

— А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелухе,

это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла — ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази — глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики!..» Говорю ему таким слобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегашь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землешапец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.

— Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается — уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное — мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой. Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, шей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать — жертвы. Я так измутился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! — Мышлаевский внешне запнул зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

— Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... ооченел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

— Вот так здорово, — сказал растерянный Николка.

— Где Елена? — озабоченно спросил старший. — Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка — академии и университета — белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали — неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво хралел, показывая три золотых коронки.

— Кто ж такие? Петлюра?

— Ну, если бы Петлюра, — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, — вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки», — они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали

офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский, — Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: — Елена, пойдем-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

— Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

— Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

— Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысней побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремите, читайте — пусть воев вьюга, — ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.

На дальнем пути Города-I, Пассажирского, уже стоит поезд — еще

без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, — поймите, первый, — кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, — авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на боль-



шом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло — Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук — шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», — выбирали «гетьмана всея Украины».

— Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в Средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, — салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»

— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть — значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

— Постой, — сказала она, — ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предадут?

Тальберг густо покраснел.

— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,  
Сжалься, о, сжалься ты над ней!  
Ты охрани ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога всемогущего, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», — совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

— Вы же Елену берегите. — Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: — Пора.

---

# ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

---



## НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой — он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей — он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.

Как бы там ни было, чемодан, содержащий в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.

Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез.)

Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно — некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их.

Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там.

### I

#### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ — ПРОСТО ВОПЛЬ

За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: «Зато вам будет что порассказать вашим внукам!» Болван такой! Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе! . . . . .

И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что, если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени . . . . .

К черту внуков. Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.

У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.

А между тем...

Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.

.....

## II

### ЙОД СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

*Вечер ... декабря.*

Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут...»

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

— Держи его! Держи!

Я оглянулся — кого это?

Оказывается — меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать, — просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

— Стой!

Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то злобный, взьерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 гр.). Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и

исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой . . . . .

...До сих пор не могу отдышаться!

...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это — уж не знаю. Безумно йода жаль.

### III

#### НОЧЬ СО 2 НА 3

Происходит что-то неопишемое... Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава богу. Слава богу. Слава...

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я — доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал.

Под утро стреляли из пушек.

### IV

#### ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА

*15 февраля.*

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хо-

чет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...

Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!

*17 февраля.*

Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался.

Достал бумажки с 18 печатями [о] том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

*21 февр.*

Меня уплотнили...

*22 февр.*

...И мобилизовали.

*...марта.*

Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение!

Из пушек стреляли под утро...

## V

.....  
 .....

## VI

### Артиллерийская подготовка и сапоги

.....  
 .....

## VII

Кончено. Меня увозят.

.....  
 .....

...Из пушек . . . . .

...и . . . . .

## VIII

## ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ

*Сентябрь.*

Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезах гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням

...мутный вал.  
Злой чечен ползет на берег,  
Точит свои кинжал.

Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизляро-гребенские казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытоптаных кукурузных полях батареи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках.

Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой.

Пулеметы гремят дружно целой стаей.

Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты...

С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптан-ными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков.

Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.

*Ночь.*

Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственные тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица



казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает, безграничная, черная, ползучая. Шалит, ругает. Ущелье длинное. В ночных бархатах — неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом, и... аминь!

Тьфу, черт возьми!

— Поручиться нельзя, — философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзости этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, — заскочить с хлангу. Бывало.

Ах, типун на язык! «С хлангу!» Господи боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. «Поручиться нельзя!» Туманы в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле...

Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я!!

Заваливаюсь на брезент, съезживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеваых листах, стены кабинета... Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...

Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!

...Да нет! Это чудится... Все тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки — спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет.

Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь — свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница...

Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира». Склянка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.

---

# РАССКАЗЫ

---



## СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Не стоит вызывать его!  
Не стоит вызывать его!

*Речитатив Мефистофеля*

### I

Дура Ксюшка доложила:

— Там к тебе мужик пришел...

Madame Лузина вспыхнула:

— Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?

И выплыла в переднюю.

В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад.

Madame Лузина вспыхнула вторично.

— Ах, Боже! Извините, Ксаверий Антоныч! Эта деревенская дура!.. Она всех так... Здравствуйте!

— О, помилуйте!.. — светски растопырил руки Лисиневич. — Добрый вечер, Зинаида Ивановна! — Он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку madame Лузиной к губам.

Но только что он собрался бросить на madame долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.

— Да-а... — немедленно начал волюнку Павел Петрович, — «мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... Коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради Бога! Муж...

«А дурак!» — подумала madame Лузина и перебила:

— Да что ж мы в передней?.. Пожалуйста в столовую...

— Да, милости просим в столовую, — скрепил Павел Петрович, — прошу!

Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.

— Я и говорю, — продолжал Павел Петрович, обнимая за талию

гостя, — коммунизм... Спору нет: Ленин человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм — это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы! Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...

— Погоди, Поль! Ксаверий Антонович, чай до или после?

— Я думаю... э-э, до, — ответил Ксаверий Антонович.

— Ксюшка! Примус! Сейчас все придут! Все страшно заинтересованы! Страшно?! Я пригласила и Софью Ильиничну...

— А столик?

— Достали! Достали! Но только... Он с гвоздями. Но ведь, я думаю, ничего?

— Гм... Конечно, это нехорошо... Но как-нибудь обойдемся...

Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собой шевельнулись.

Павел Петрович заговорил:

— Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...

— Ах, что ты говоришь! Это безумно интересно! Но предупреждаю: я буду бояться!

Madame Лузина оживленно блестела глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток.

— Я думаю, — начал Павел Петрович, но не кончил.

В передней постучали. Первая явилась Леночка, затем квартирант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница II-ой ступени. А тотчас же за ней явился и Боборицкий с невестой Ниночкой.

Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом.

— Давно, давно нужно было устроить!

— Я, признаться...

— Ксаверий Антонович! Вы будете медиум! Ведь да? Да?

— Господа, — кокетничал Ксаверий Антонович, — я ведь, в сущности, такой же непосвященный... Хотя...

— Э-э, нет! У вас столик на воздух поднимался!

— Я, признаться...

— Уверю тебя, Маня собственными глазами видела зеленоватый свет!..

— Какой ужас! Я не хочу!

— При свете! При свете! Иначе я не согласна, — кричала крепко сколоченная, материальная Софья Ильинична, — иначе я не поверю!

— Позвольте... Дадим честное слово...

— Нет! Нет! В темноте! Когда Юлий Цезор выстучал нам смерть...

— Ах, я не могу! О смерти не спрашивать! — кричала невеста Боборицкого, а Боборицкий томно шептал:

— В темноте! В темноте!

Ксюшка, с открытым от изумленья ртом, внесла чайник. Madame Лузина загремела чашками.

— Скорее, господа, не будем терять времени!..

И сели за чай...

...Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топтать пятками. Сели, и стала темь...

## II

Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина... всюду темень. Заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услылав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос...

— Господи?..

Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться...

Тук... Тук... Тук... Будто голос гостьи (чистая тунба, прости Господи!) забубнил:

— А, га, га, га...

Тук... Тук...

Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха к любопытству... То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянуло в переднюю...

Наконец не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине... Но в скважине была адова тьма, из которой доносились голоса...

## III

— Ду-ух, кто ты?

— А, бе, ве, ге, де, е, же, зе, и...

Тук!

— И! — вздохнули голоса.

— А, бе, ве, ге...

— Им!

Тук... тук, тук...

— Им-пе-ра!.. О-о! Господа...

— Император На-по...

Тук... Тук...

— На-по-ле-он!!.. Боже, как интересно!..

— Тише!.. Спросите! Спрашивайте!

— Что?.. Да, спрашивайте!.. Ну, кто хочет?..

— Дух императора, — прерывисто и взволнованно спросила Леночка, — скажи, стоит ли мне переходить из Главхима в Желеском? Или нет?.. Тук... Тук... Тук...

— Ду-у... Ду-ра! — отчетливо ответил император Наполеон.

— Ги-и! — гикнул дерзкий квартирант.

Смешок пробежал по цепи.

Софья Ильинична сердито шепнула:

— Разве можно спрашивать ерунду!

Уши Леночки горели во тьме.

— Не сердись, добрый дух! — взмолилась она. — Если не сердись-ся, стукни один раз!

Наполеон, повинувшись рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать сразу два дела — щекотать губами шею madame Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича.

— Сс-с! — болезненно прошипел Павел Петрович.

— Тише!.. Спрашивайте!

— У вас никого посторонних нет в квартире? — спросил осторожный Боборицкий.

— Нет! Нет! Говорите смело!

— Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?

— А-а!.. Это интересно! Тише!.. Считайте!..

Та-ак, та-ак, — застучал Наполеон, припадая на одну ножку.

— Те... эр... и... три... ме-ся-ца!

— А-а!!

— Слава Богу! — вскричала невеста. — Я их так ненавижу!

— Тсс! Что вы?!

— Да никого нет!

— Кто их свергнет? Дух, скажи!..

Дыхание затаили... Та-ак, та-ак...

...Ксюшку распирало от любопытства...

Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом. Потом решила, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше нижней.

#### IV

Маша нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу вместе с Дуськой из пятого этажа. В кармане у нижней Маши было на 100 тысяч семечек.

Ксюшка излилась.

— Заперлись они, девоньки... Записывают про императора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша...

— Ну!! — изумлялась нижняя и Дуська, а мозаичный пол покрывался липкой шелухой...

Дверь в квартире №3 хлопнула, и по лестнице двинулся вниз бравый в необыкновенных штанах. Дуська, и Ксюшка, и нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как штаны из хорошей диагонали, но от колен расширились, расширились и становились как колокола.

Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло.

Бравый, лихо закинув голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу...

— Лампы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хи-хи!.. И записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор... Хи! Хи!

С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Правый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно, раздумав, вместо того чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «швейцар».

Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать...

...Облегчив душу, Ксюшка затоптала обратно. Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечами и, видимо, соскучившись ждать кого-то из квартиры №3, поднялся и, развинченно помахивая колоколами, пошел на расстоянии одного марша за Ксюшкой...

Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номера — «24». Бравый уже не прилипал и не позевывал.

— Двадцать четыре, — сосредоточенно сказал он самому себе и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей.

## V

В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки, онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные, беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх.

— Ах!.. Довольно!.. Я боюсь!.. Нет! Пусть! Милый! Дух! Выше!.. Никто не трогает, ногами?.. Да нет же!.. Тсс!.. Дух! Если ты есть, возьми Ia на пианино! — Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в

пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино... Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним...

Ксюшка вскочила как встрепанная с ситцевого одеяла в кухне. Ее писка: «Кто такой?» — очумевшие спириты не слышали.

Какой-то новый, злобный и страшный, дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесину:

— Дра-ту-ма... бы... ы... ы.

— Миленький! Дух! — стонали спириты.

— Что ты хочешь?!

— Дверь! — наконец вырвалось у бешеного духа.

— А-а!.. Дверь! Слышите! В дверь хочет бежать!.. Пустите его!

Трык, трак, тук, — заковылял стул к двери.

— Стойте! — крикнул вдруг Боборицкий. — Вы видите, какая в нем сила! Пусть, не доходя, стукнет в дверь!

— Дух! Стукни!!

И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул как будто сразу тремя кулаками.

— Ай! — визгнули в комнате три голоса.

А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина...

Дрожащим голосом выкрикнул Павел Петрович:

— Дух! Кто ты?..

И из-за двери гробовой голос ответил:

— Чрезвычайная комиссия.

...Дух испарился из стола позорно — в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем madame Лузина простонала: «Бо-о-же!» — и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь Ксаверию Антоновичу, прошипевшему:

— О, черт бы взял идиотскую затею!

Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.

Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель...

Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:

— Ваши документы, товарищи...

## ЭПИЛОГ

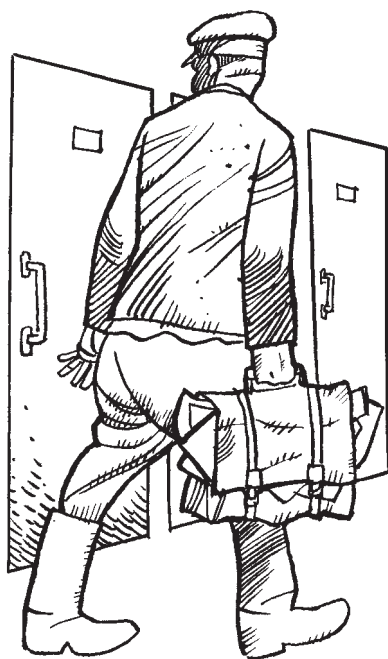
Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович — 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца.



---

# ДЪЯВОЛИАДА

---



## I

### ПРОИСШЕСТВИЕ 20-го ЧИСЛА

**В** то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополуночи.

Вернулся же кассир в 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку — портфель и сказал:

— Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:

— Денег не будет.

— Завтра? — хором закричали женщины.

— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

— Как? — вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу!

— Да как же? — кричали все, и громче всех этот комик Коротков.

— Ну, пожалуйста, — силпо пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова — Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».

— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

— Ах ты, Господи! — растерянно заныл тот. — При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, — босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

## II

### ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского — Преображенский.

И я полагаю. — Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со

службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

— 46, — сказала она и повернулась к Короткову.

— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, — вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка.

— Как, и вам? — ахнул Коротков.

— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.

— Нам — спички, — угасшим голосом ответил Коротков и закрыл пуговицу на пиджаке.

— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

— Как это так не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.

— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

— Ах, Боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

— Врет, дура, — ворчал Коротков, — прекрасные спички.

---

# РОКОВЫЕ ЯЙЦА

---



## Глава I

### КУРРИКУЛЮМ ВИТЭ ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Ульяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с 1<sup>4</sup>, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской. Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли

насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов, и всех на голых гадах.

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцатипятиэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919—1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2 1/2 тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стек-



лянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

«Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов» 126 стр. «Известия IV университета».

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский:

«Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 рубля. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

## Глава II

### ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы несколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейссовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амёб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо! — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в

брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровавые шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность, на горе республике, сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат занес уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже слышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремное крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая

ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу, — пробурчал он, — пропал. Понимаю. По-о-нимаю, — протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, — это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

— Я его поймаю, — торжественно и важно сказал он, поднимал палец кверху, — поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

— Панкрат, — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

— У-у-у, по-по-понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет я запер, — продолжал Персиков, — так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с, — прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле.

---

# СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

---



У-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Не годяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи Боже мой, как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужли же я обожду Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя — все равно что калашу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида», — так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипятком, под шерсть

проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очитки — самая низшая категория. Повар попадаетеся разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только — сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:

— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма — сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбочку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалывшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Раз боишься, значит, стоишь... Р-р-р... гау-гау.

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!

Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроко-нечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у фран-

цузских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей и сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы — величина мирового значения, благодаря мужским половым железам... У-у-у-у... Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у-у!

— Фить-фить, — повсистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок...

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что, — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пыгливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— Ага, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот



и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной, — он пощелкал пальцами, — фить-фить!

За вами идти? Да на край света, пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в суতোлке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный, кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету невзвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на kota он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, вздрался по трубе до второго этажа.

Фр-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. Эх, чудак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить, сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить!

Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе!

— Да не бойся ты, иди!

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуйте, Федор.

Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозоли-

стю ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу — почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно вполголоса вдогонку): А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так. Целых четыре штуки.

— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну, и что же они?

— Да ничего-с!

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.

— Что делается! Ай-яй-яй... Фить-фить...

Иду-с, поспешаю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.

## 2

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с

надписью «М. С. П. О. Мясная торговля». Повторяем, все это не к чему, потому что и так мясо слышно. И пуганица раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки, — «М».

Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом уже «б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).

Израцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармонике, что было немногим лучше «милрой Айды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли...», что означало: «Неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, — псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины — гау-гау... га...строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и — ви, нэ-а — вина... Елисеевы братья бывшие...

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о — «Про...». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая.

«Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением. — Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает, что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружев-

ной наколочке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да. Это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в вышоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки, до чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где же он паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм... Это не парши... да стой ты, черт... Гм... А-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!

«Повар, каторжник. Повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат!

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э... нет... — мысленно взвыл пес, — извините, не дамся! Понимаю! О, черт бы взял их и с колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет! Куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

---

# ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА

---



## Пролог

### Я РАЗГОВАРИВАЮ С АКУШЕРКОЙ

Что помешает мне, смеясь, говорить правду?

*Гораций*

Молиер был славный писатель французских комедий в царство Людовика XIV.

*Антиох Кантемир*

Некая акушерка, обучившаяся своему искусству в родовспомогательном Доме Божьем в Париже под руководством знаменитой Луизы Буржуа, приняла 13 января 1622 года у милейшей госпожи Поклен, урожденной Крессе, первого ребенка, недоношенного младенца мужского пола.

С уверенностью могу сказать, что, если бы мне удалось объяснить почтенной повитухе, кого именно она принимает, возможно, что от волнения она причинила бы какой-нибудь вред младенцу, а с тем вместе и Франции.

И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мною горят восковые свечи, и мозг мой воспален.

— Сударыня! — говорю я. — Осторожнее поворачивайте младенца! Не забудьте, что он рожден ранее срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны!

— Мой бог! Госпожа Поклен родит другого.

— Госпожа Поклен никогда более не родит такого, и никакая другая госпожа в течение нескольких столетий такого не родит.

— Вы меня изумляете, сударь!

— Я и сам изумлен. Поймите, что по прошествии трех веков, в далекой стране, я буду вспоминать о вас только потому, что вы сына господина Поклена держали в руках.

— Я держала в руках и более знатных младенцев.

— Что понимаете вы под словом — знатный? Этот младенец станет более известен, чем ныне царствующий король ваш Людовик XIII, он станет более знаменит, чем следующий король, а этого короля, суда-

рыня, назовут Людовик Великий или Король-солнце! Добрая госпожа, есть дикая страна, вы не знаете ее, это — Московия, холодная и страшная страна. В ней нет просвещения, и населена она варварами, говорящими на странном для вашего уха языке. Так вот, даже в эту страну вскоре проникнут слова того, кого вы сейчас принимаете. Некий поляк, шут царя Петра Первого, уже не с вашего, а с немецкого языка переведет их на варварский язык.

Шут, прозванный Королем Самоедским, скрипя пером, выведет корявые строки:

«...Г о р ж ы б у с. Есть нужно даты так великыя деньги за ваши лица изрядныя. Скажите мне нечто мало что соделалысте сым господам, которых аз вам показывах и которых выжду выходящих з моего двора з так великым в стыдом...»

Переводчик русского царя этими странными словами захочет передать слова вашего младенца из комедии «Смешные драгоценные»:

«...Г о р ж и б у с. Вот уж действительно, нужно тратить деньги на то, чтобы вымазать себе физиономии! Вы лучше скажите, что вы сделали этим господам, что они вышли от вас с таким холодным видом...»

В «Описании комедиям, что каких есть в государственном Посольском приказе мая по 30 число 1709 года» отмечены, в числе других, такие пьесы: шутовская «О докторе битом» (он же «Доктор принужденный») и другая — «Порода Геркулесова, в ней же первая персона Юпитер». Мы узнаем их. Первая — это «Лекарь поневоле» — комедия все того же вашего младенца. Вторая — «Амфитрион» — его же. Тот самый «Амфитрион», который в 1668 году будет разыгран съером де Мольером и его комедиантами в Париже в присутствии Петра Иванова Потемкина, посланника царя Алексея Михайловича.

Итак, вы видите, что русские узнают о том человеке, которого вы принимаете, уже в этом столетии. О, связь времен! О, токи просвещения! Слова ребенка переведут на немецкий язык. Переведут на английский, на итальянский, на испанский, на голландский. На датский, португальский, польский, турецкий, русский...

— Возможно ли это, сударь?

— Не перебивайте меня, сударыня! На греческий! На новый греческий, я хочу сказать. Но и на греческий древний. На венгерский, румынский, чешский, шведский, армянский, арабский...

— Сударь, вы поражаете меня!

— О, в этом еще мало удивительного! Я мог бы назвать вам десятки писателей, переведенных на иностранные языки, в то время как они не заслуживают даже того, чтоб их печатали на их родном языке. Но этого не только переведут, о нем самом начнут сочинять пьесы, и одни ваши соотечественники напишут их десятки. Такие пьесы будут

писать и итальянцы, а среди них — Карло Гольдони, который, как говорили, и сам-то родился при аплодисментах муз, и русские.

Не только в вашей стране, но и в других странах будут сочинять подражания его пьесам и писать переделки этих пьес. Ученые различных стран напишут подробные исследования его произведений и шаг за шагом постараются проследить его таинственную жизнь. Они докажут вам, что этот человек, который сейчас у вас в руках подает лишь слабые признаки жизни, будет влиять на многих писателей будущих столетий, в том числе на таких, неизвестных вам, но известных мне, как соотечественники мои Грибоедов, Пушкин и Гоголь.

Вы правы: из огня тот выйдет невредим,  
Кто с вами день пробьют успеет,  
Подышит воздухом одним,  
И в нем рассудок уцелеет.  
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездук.  
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,  
Где оскорбленному есть чувству уголок!

Это строчки из финала пьесы моего соотечественника Грибоедова «Горе от ума».

А я, быв жертвою коварства и измены,  
Оставлю навсегда те пагубные стены,  
Ту бездну адскую, где царствует разврат,  
Где ближний ближнему — враг лютей, а не брат!  
Пойду искать угла в краю, отсель далеко,  
Где можно как-нибудь быть честным человеком!

А это строчки из финала пьесы этого самого Поклена «Мизантроп» в переводе русского автора Федора Кокошкина (1816 год).

Есть сходство между этими финалами? Ах, мой бог, я не знаток! Пусть в этом разбираются ученые! Они расскажут вам о том, насколько грибоедовский Чацкий похож на Альцеста-Мизантропа, и о том, почему Карло Гольдони считают учеником этого самого Поклена, и о том, как подросток Пушкин подражал этому Поклену, и много других умных и интересных вещей. Я во всем этом плохо разбираюсь. Меня это совершенно не интересует!

Другое занимает меня: пьесы моего героя будут играть в течение трех столетий на всех сценах мира, и неизвестно, когда перестанут играть. Вот что для меня интересно! Вот какой человек разовьется из этого младенца!

Да, я хотел сказать о пьесах. Весьма почтенная дама, госпожа Аврора Дюдеван, впрочем более известная под именем Жорж Санд, будет в числе тех, кто напишет пьесы о моем герое.

В финале этой пьесы Мольер, подымаясь, скажет:



— Да, я хочу умереть дома... Я хочу благословить свою дочь.

И принц Конде, подойдя к нему, подаст реплику:

— Обопритесь о меня, Мольер!

Актер же Дюпарк, которого ко времени смерти Мольера, кстати сказать, не будет на свете, рыдая, воскликнет:

— О, потерять единственного человека, которого я когда-либо любил!

Дамы пишут трогательно, с этим ничего уж не поделаешь! Но ты, мой бедный и окровавленный мастер! Ты нигде не хотел умирать, ни дома и ни вне дома! Да и вряд ли, когда у тебя изо рта хлынула рекою кровь, ты изъявлял желание благословлять свою мало кому интересную дочь Мадлену!

Кто пишет трогательнее, чем дамы? Разве что иные мужчины: русский автор Владимир Рафаилович Зотов даст не менее чувствительный финал.

— Король идет. Он хочет видеть Мольера. Мольер! Что с вами?

— Умер.

И принц, побежав навстречу Людовику, воскликнет:

— Государь! Мольер умер!

И Людовик XIV, сняв шляпу, скажет:

— Мольер бессмертен!

Что можно возразить против последних слов? Да, действительно, человек, который живет уже четвертое столетие, несомненно, бессмертен. Но весь вопрос в том, признавал ли это король?

В опере «Аретуза», сочиненной господином Камбре, было возведено так:

— Боги правят небом, а Людовик — землей!

Тот, кто правил землей, шляпы ни перед кем никогда, кроме как перед дамами, не снимал и к умирающему Мольеру не пришел бы. И он действительно не пришел, как не пришел и никакой принц. Тот, кто правил землей, считал бессмертным себя, но в этом, я полагаю, ошибался. Он был смертен, как и все, а следовательно — слеп. Не будь он слепым, он, может быть, и пришел бы к умирающему, потому что в будущем увидел бы интересные вещи и, возможно, пожелал бы приобщиться к действительному бессмертию.

Он увидел бы в том месте теперешнего Парижа, где под острым углом сходятся улицы Ришелье, Терезы и Мольера, неподвижно сидящего между колоннами человека. Ниже этого человека — две светлого мрамора женщины со свитками в руках. Еще ниже их — львиные головы, а под ними — высохшая чаша фонтана.

Вот он — лукавый и обольстительный галл, королевский комедиянт и драматург! Вот он — в бронзовом парике и с бронзовыми бантами на башмаках! Вот он — король французской драматургии!

Ах, госпожа моя! Что вы толкуете мне о каких-то знатных младенцах, которых вы держали когда-то в руках! Поймите, что этот ребенок, которого вы принимаете сейчас в покленовском доме, есть не кто иной, как господин де Мольер! Ага! Вы поняли меня? Так будьте же осторожны, прошу вас! Скажите, он вскрикнул? Он дышит?

Он живет.

## Глава 1

### В ОБЕЗЬЯНЬЕМ ДОМЕ

Итак, 13 примерно января 1622 года, в Париже, у господина Жана-Батиста Поклена и его супруги Марии Поклен-Крессе появился хилый первенец. 15 января его окрестили в церкви Святого Евстафия и назвали в честь отца Жаном-Батистом. Соседи поздравили Поклена, и в цехе обойщиков стало известно, что родился на свет еще один обойщик и торговец мебелью.

У каждого архитектора есть свои фантазии. На углах приятного трехэтажного дома с острой двускатной крышей, стоявшего на углу улиц Святого Онория и Старых Бань, строитель XV века поместил скульптурные деревянные изображения апельсиновых деревьев с аккуратно подрезанными ветвями. По этим деревьям цепью тянулись маленькие обезьянки, срывающие плоды. Само собою разумеется, что дом получил у парижан кличку обезьяньего дома. И дорого обошлись впоследствии комедианту де Мольеру эти мартышки! Не раз доброжелатели говорили о том, что ничего удивительного нет в карьере старшего сына почтенного Поклена, сына, ставшего гороховым шутком. Чего же и требовать от человека, выросшего в компании гримасниц обезьян? Однако в будущем комедиант не отрекся от своих обезьян и на склоне жизни уже, проектируя свой герб, который неизвестно зачем ему понадобился, изобразил в нем своих хвостатых приятельниц, карауливших отчий дом.

Дом этот находился в шумнейшем торговом квартале в центре Парижа, недалеко от Нового Моста. Домом этим владел и в доме этом жил и торговал придворный обойщик и драпировщик, Жан-Батист отец.

С течением времени обойщик добился еще одного звания — камердинера его величества короля Франции. И это звание не только с честью носил, но и наследственно закрепил за своим старшим сыном Жаном-Батистом.

Ходил слухок, что Жан-Батист отец, помимо торговли креслами и обоями, занимался и отдачею денег взаймы за приличные проценты. Не вижу в этом ничего предосудительного для коммерческого человека! Но злые языки утверждали, что будто бы Поклен-отец несколько пересаливал в смысле процентов и что якобы драматург Мольер, когда

описывал противного скрягу Арпагона, вывел в нем своего родного отца. Арпагон же этот был тот самый, который одному из своих клиентов пытался в счет денег всучить всякую рухлядь, в том числе набитое сеном чучело крокодила, которое, по мнению Арпагона, можно было привесить к потолку в виде украшения.

Не хочу я верить этим пустым рассказням! Драматург Мольер не порочил памяти своего отца, и я не намерен ее порочить!

Поклен-отец был настоящим коммерсантом, видным и уважаемым представителем своего почтенного цеха. Он торговал, и над входом в обезьянью лавку развевался честный флаг с изображением все той же обезьяны.

В темноватом первом этаже, в лавке, пахло краской и шерстью, в кассе звякали монеты, и целый день сюда стремился народ, чтобы выбирать ковры и обои. И шли к Поклену-отцу и буржуа и аристократы. В мастерской же, окнами выходившей на двор, столбами стояла жирная пыль, были нагромождены стулья, валялись куски фурнитурового дерева, обрезки кожи и материи, и в этом хаосе возились, стучали молотками, кроили ножницами покленовские мастера и подмастерья.

В комнатах второго этажа, выше флага, царствовала мать. Там слышалось ее постоянное покашливание и шум ее гроденаплевых юбок. Мария Поклен была состоятельной женщиной. В шкафах ее лежали дорогие платья и куски флорентийских материй, белье из тончайшего полотна, в комодах хранились колье, браслеты с алмазами, жемчуга, перстни с изумрудами, золотые часы и дорогое столовое серебро. Молясь, Мария перебирала перламутровые четки. Она читала Библию и даже, чему я мало верю, греческого автора Плутарха в сокращенном переводе. Она была тиха, любезна и образованна.

Большинство ее предков были обойщики, но попадались среди них и люди других профессий, например музыканты и адвокаты.

Так вот, в верхних комнатах обезьяньего дома расхаживал белокурый толстогубый мальчик. Это и был старший сын Жан-Батист. Иногда он спускался в лавку и в мастерские и мешал подмастерьям работать, расспрашивая их о разных разностях. Мастера посмеивались над его заиканием, но любили его. По временам он сидел у окна и глядел, подперев щеки кулаками, на грязную улицу, по которой сновал народ.

Мать однажды, проходя мимо него, похлопала его по спине и сказала:

— Эх ты, созерцатель...

И созерцателя в один прекрасный день отдали в приходскую школу.

В приходской школе он выучился именно тому, чему можно выучиться в такой школе, то есть овладел первыми четырьмя правилами арифметики, стал свободно читать, усвоил начатки латыни и познако-

мился со многими интересными фактами, изложенными в «Житиях святых».

Так дела и шли, мирно и хорошо. Поклен-отец богател, детей родилось уже четверо, как вдруг в обезьяний дом пришла беда. Весною 1632 года нежная мать захворала. Глаза у нее стали блестящие и тревожные. В один месяц она исхудала так, что ее трудно было узнать, и на бледных ее щеках расцвели нехорошие пятна. Затем она стала кашлять кровью, и в обезьяний дом начали приезжать верхом на мулах, в зловещих колпаках, врачи. 15 мая пухлый созерцатель плакал навзрыд, вытирая грязными кулаками слезы, и весь дом рыдал вместе с ним. Тихая Мария Поклен лежала неподвижно, скрестив руки на груди.

Когда ее похоронили, в доме настали как бы непрерывные сумерки. Отец впал в тоску и рассеянность, и первенец его несколько раз видел, как в летние вечера отец сидел один в сумерках и плакал. Созерцатель от этого расстраивался и слонялся по квартире, не зная, чем бы ему заняться. Но потом отец плакать перестал и зачастил в гости в некую семью Флёретт. Тут одиннадцатилетнему Жану-Батисту объявили, что у него будет новая мама. И вскоре Екатерина Флёретт, новая мама, появилась в обезьяньем доме. Тут, впрочем, обезьяний дом семейство покинуло, потому что отец купил другой дом.

## Глава 2

### ИСТОРИЯ ДВУХ ТЕАТРАЛОВ

Новый дом был расположен уже на самом Рынке, в том районе, где происходила знаменитая Сен-Жерменская ярмарка. И на новом месте предприимчивый Поклен с еще большим блеском развернул все приманки своей лавки. В прежнем доме хозяйничала и рожала детей Мария Крессе, в новом ее сменила Екатерина Флёретт. Что можно сказать об этой женщине? По-моему, ничего — ни дурного и ни хорошего. Но потому, что она вошла в семью с кличкой мачехи, многие из тех, кто интересовался жизнью моего героя, стали утверждать, что Жану-Батисту малому плохо жилось при Екатерине Флёретт, что она была злой мачехой и будто бы именно ее, под именем Белины, вероломной жены, Мольер изобразил в комедии «Мнимый больной».

По-моему, все это неверно. Нет никаких доказательств, что Екатерина обижала Жана-Батиста, и тем более нет никаких, что она — это Белина. Екатерина Флёретт была незлой второй женой, исполнившей свое назначение на земле: она родила Поклену через год после свадьбы дочку Екатерину, а еще через два — Маргариту.

Итак, Жан-Батист проходил курс приходской школы и наконец его закончил. Поклен-отец решил, что первенец его достаточно рас-

ширил свой кругозор, и велел ему присматриваться к делу в лавке. Тут Жан-Батист стал мерить материи, приколачивать что-то гвоздиками, точить лясы с подмастерьями, а в свободное время читать замасленную книжку Плутарха, оставшуюся от Марии Крессе.

И вот тут, при свете моих свечей, в открывшейся двери появляется передо мной в скромном, но солидном кафтане, в парике и с тростью в руке очень оживленный для своих лет господин буржуазного вида, с живыми глазами и приличными манерами. Имя его — Луи, фамилия — Крессе, он покойной Марии родной отец, следовательно, Жану малому он дед.

По профессии господин Крессе был обойщиком, так же как и его зять. Но только Крессе был не придворным обойщиком, а частным, и торговал он на Сен-Жерменской ярмарке. Проживал Крессе в Сент-Уане, под Парижем, где владел прекрасным домом со всеми угодьями. По воскресным дням семейство Покленов обычно отправлялось в Сент-Уан к деду гостить, причем у покленовских ребятишек от этих посещений оставались приятные воспоминания.

Так вот, этот самый дед Крессе свел удивительную дружбу с Жаном-Батистом малым. Что могло связать старика с мальчишкой? Разве что черт! Да, пожалуй, именно он! Общая страсть, однако, недолго была секретом для Поклена-отца и вскорости вызвала его хмурое удивление. Оказалось, что дед и внук без памяти любят театр!

В свободные вечера, когда дед бывал в Париже, оба обойщика, и старый и малый, сговорившись и таинственно переглянувшись, уходили из дому. Проследить их путь было нетрудно. Обычно они направлялись на угол улиц Моконсейль и Французской, где в низком и мрачном зале Бургонского Отеля играла королевская труппа актеров. У почтенного деда Крессе были прочные знакомства среди старшин некоего общества, объединенного религиозными, но также и коммерческими целями. Общество это носило название Братства Страстей Господних и владело привилегией представлять в Париже мистерии. Братство именно и построило Бургонский Отель, но в то время, когда Жан-Батист был мальчиком, мистерий уже не представляло, а сдавало Отель различным труппам.

Итак, дед Крессе отправлялся к старшине Братства, и уважаемому обойщику и его внуку предоставляли бесплатные места в одной из свободных лож.

В театре Бургонского Отеля, премьером в котором был в то время известнейший актер Бельроз, играли трагедии, трагикомедии, пасторали и фарсы, причем виднейшим драматургом Отеля считался Жан де Ротру, большой любитель испанских драматургических образцов. Деду Крессе Бельроз своей игрой доставлял величайшее наслаждение, и внук, вместе с дедом, аплодировал Бельрозу. Но внуку гораздо больше

тех трагедий, в которых выступал Бельроз, нравились бургонские фарсы, грубые и легкие фарсы, заимствованные, большею частью, у итальянцев и нашедшие в Париже прекрасных исполнителей, вольно жонглировавших злободневным текстом в своих смешных ролях.

Да, показал дед Крессе, на горе Поклену-отцу, его сыну ход в Бургонский Отель! И вот, вместе с дедом, когда Жан-Батист был мальчишкой, и позже, вместе с товарищами, когда Жан-Батист стал юношей, он успел пересмотреть в Отеле замечательные вещи.

Знаменитый Гро-Гильом, выступавший в фарсах, поражал Жана-Багиста своим красным плоскодонным беретом и белой курткой, обтягивающей чудовищный живот. Другая знаменитость, фарсер Готье-Гаргюиль, одетый в черный камзол, но с красными рукавами, вооруженный громадными очками и с палкой в руках, не хуже Гро-Гильома укладывал в лоск бургонскую публику. Поражали Жана-Батиста и Тюрлюпен, неистощимый в выдумке трюков, и Ализон, играющий роли смешных старух.

В глазах у Жана-Батиста в течение нескольких лет, вертятся как в карусели, пролетели вымазанные мукой и краской или замаскированные педанты-доктора, скупые старики, хвастливые и трусливые капитаны. Под хохот публики легкомысленные жены обманывали ворчливых дураков мужей, и фарсовые сводни-кумушки тарахтели, как сороки. Хитрые, легкие, как пух, слуги водили за нос стариков Горжибюсов, старых хрычей били палками и запихивали в мешки. И стены Бургонского Отеля тряслись от хохота французов.

Посмотрев все, что можно было посмотреть в Бургонском Отеле, одержимые страстью обойщики переключивались в другой большой театр — Театр на Болоте. Здесь царила трагедия, в которой отличался знаменитый актер Мондори, и высокая комедия, лучшие образцы которой предоставил театру знаменитый драматург того времени Пьер Корнель.

Внука Людовика Крессе как бы окунали в разные воды: бургонский разукрашенный, как индийский петух, Бельроз был слашав и нежен. Он закатывал глаза, потом устремлял их в неизвестные дали, плавно взмахивал шляпой и читал монологи подвывающим голосом, так что нельзя было разобрать, говорит он или поет. А там, на Болоте, Мондори потрясал громовым голосом зал и с хрипением умирал в трагедии.

Мальчишка возвращался в дом отца с лихорадочным блеском в глазах и по ночам видел во сне буффонов Ализона, Жакмена-Жадо, Филипена и знаменитого Жодле с выбеленным лицом.

Увы! Бургонский Отель и Болото далеко не исчерпывали всех возможностей для тех, кто болен не излечимой никогда страстью к театру.

У Нового Моста и в районе Рынка в ширь и мах шла торговля. Париж от нее тучнел, хорошел и лез во все стороны. В лавках и перед лав-

ками бурлила такая жизнь, что звенело в ушах, в глазах рябило. А там, где Сен-Жерменская ярмарка раскидывала свои шатры, происходило настоящее столпотворение. Гам! Грохот! А грязи, грязи!..

— Боже мой! Боже мой! — говорил однажды про эту ярмарку калека-поэт Скаррон. — Сколько грязи навалят всюду эти зады, незнакомые с кальсонами!

Целый день идут, идут, толкутся! И мещане, и красотки-мещаночки. В цирюльнях бреют, мылят, дергают зубы. В человеческом месиве, среди пешеходов, видны конные. На мулах проезжают важные, похожие на ворон врачи. Гарцуют королевские мушкетеры с золотыми стрелами девизов на ментиках. Столица мира, ешь, пей, торгуй, расти! Эй вы, зады, незнакомые с кальсонами, сюда, к Новому Мосту! Глядите, вон сооружают балаганы, увешивают их коврами. Кто там пищит, как дудка? Это глашатай. Не опоздайте, господа, сейчас начнется представление! Не пропустите случая! Только у нас, и больше нигде!

Вы увидите замечательных марионеток господина Бриоше! Вон они качаются на помосте, подвешенные на нитках! Вы увидите гениальную ученую обезьяну Фаготена!

У Нового Моста в балаганах расположились уличные врачи, зубодеры, мозольные операторы и аптекари-шарлатаны. Они продавали народу панацеи — средства от всех болезней, а для того, чтобы на их лавки обращали внимание, они придумали замечательный способ. Они входили в соглашение с бродячими уличными актерами, а иногда и с актерами, обосновавшимися в театрах, и те давали целые представления, восхваляя чудодейственные шарлатанские средства.

Происходили торжественные процессии, на конях ехали разукрашенные, разодетые, облепившие себя сомнительными, взятыми напрокат ценностями комедианты, они выкрикивали рекламы, сзывали народ. Мальчишки стаями шли за ними, свистели, ныряли под ногами и этим увеличивали сутолоку.

Греми, Новый Мост! Я слышу, как в твоём шуме рождается от отца-шарлатана и матери-актрисы французская комедия, она пронзительно кричит, и грубое лицо ее обсыпано мукой!

Вот на весь Париж зашумел таинственнейший и замечательный человек, некий Кристоф Контуджи. Он нанял целую труппу и развернул спектакли в балагане с полишинелями, и при их помощи стал торговать лекарственной всеисцеляющей кашкой, получившей название «орвьетан».

Обойди кругом все царство,  
Лучше не найдешь лекарства!  
Орвьетан, орвьетан,  
Покупайте орвьетан!

Буффоны в масках охрипшими в гвалте голосами клялись, что нет на свете такой болезни, при которой не помог бы волшебный орвьетан. Он спасает от чахотки, от чумы и от чесотки!

Мимо балагана едет мушкетер. Его кровный жеребец косит кровавым глазом, роняет пену с мундштука. Незнакомые с кальсонами режут дорогу, жмутся к седлу с пистолетами. В балагане у Контуджи завывают голоса:

Господин капитан,  
Покупайте орвьетан!

— Чума вас возьми! С дороги! — кричит гвардеец.

— Позвольте мне коробочку орвьетана, — говорит некий соблазненный Сганарель, — сколько она стоит?

— Сударь, — отвечает шарлатан, — орвьетан — такая вещь, что ей цены нету! Я стесняюсь брать с вас деньги, сударь.

— О, сударь, — отвечает Сганарель, — я понимаю, что всего золота в Париже не хватит, чтобы заплатить за эту коробочку. Но и я стесняюсь что-нибудь брать даром. Так вот, извольте получить тридцать су и пожалуйста сдачи.

Над Парижем темно-синий вечер, зажигаются огни. В балаганах горят дымные крестообразные паникадила, в них тают сальные свечи, факелы завывают хвосты.

Сганарель спешит домой, на улицу Сен-Дени. Его рвут за полы, приглашают купить противоядие от всех ядов, какие есть на свете.

Греми, Мост!

И вот в людском месиве пробираются двое: почтенный дед со своим приятелем подростком в плоеном воротнике. И никто не знает, и актеры на подмостках не подозревают, кого тискают в толпе у балагана шарлатана. Жодле в Бургонском Отеле не знает, что настанет день, когда он будет играть в труппе у этого мальчишки. Пьер Корнель не знает, что на склоне лет он будет рад, когда мальчишка примет к постановке его пьесу и заплатит ему, постепенно беднеющему драматургу, деньги за эту пьесу.

— А не посмотрим ли мы еще и следующий балаган? — умильно и вежливо спрашивает внук.

Дед колеблется — поздно. Но не выдерживает:

— Ну, так и быть, пойдём.

В следующем балагане актер показывает фокусы со шляпой, он вертит ее, складывает ее необыкновенным образом, мнет, швыряет в воздух...

И Мост уже в огнях, по всему городу плывут фонари в руках прохожих, и в ушах еще стоит пронзительный крик — орвьетан!

И очень возможно, что вечером на улице Сен-Дени разыграется



финал одной из будущих комедий Мольера. Пока этот самый Сганарель или Горжибюс ходил за орвьетаном, которым он надеялся излечить свою дочку Люсинду от любви к Клитандру или Клеонту, Люсинда, натурально, бежала с этим Клитандром и обвенчалась!

Горжибюс бушует. Его надули! Его взнуздали, как бекаса! Он швыряет в зубы служанке проклятый орвьетан! Он угрожает!

Но появятся веселые скрипки, затанцует слуга Шампань, Сганарель примирится со случившимся. И Мольер напишет счастливый вечерний конец с фонарями.

Греми, Мост!

### Глава 3

#### НЕ ДАТЬ ЛИ ДЕДУ ОРВЬЕТАНУ?

В один из вечеров Крессе и внук вернулись домой возбужденные и, как обычно, несколько таинственные. Отец Поклен отдыхал в кресле после трудового дня. Он осведомился, куда дед водил своего любимца? Ну конечно, они были в Бургонском Отеле на спектакле.

— Что это вы так зачастили с ним в театр? — спросил Поклен. — Уж не собираетесь ли вы сделать из него комедианта?

Дед положил шляпу, пристроил в угол трость, помолчал и сказал:

— А дай бог, чтоб он стал таким актером, как Бельроз.

Придворный обойщик открыл рот. Помолчал, потом осведомился, серьезно ли говорит дед? Но так как Крессе молчал, то Поклен сам развил эту тему, но в тонах иронических.

Если, по мнению Людовика Крессе, можно желать стать похожим на комедианта Бельроза, то почему же не пойти и дальше? Можно двинуться по стопам Алисона, который кривляется на сцене, изображая для потехи горожан смешных старух-торговок. Отчего бы не вымазать физиономию какой-то белой дрянью и не нацепить чудовищные усы, как это делает Жодле?

Вообще можно начать валять дурака, вместо того чтобы заниматься делом. Что ж, горожане за это платят по пятнадцать су с персоны!

Вот уж воистину чудесная карьера для старшего сына придворного обойщика, которого знает, слава богу, весь Париж! Вот бы порадовались соседи, если бы Батист-младший, господин Поклен, за которым закрепляется звание королевского лакея, оказался бы на подмостках! В цехе обойщиков надорвали бы животики!

— Простите, — сказал Крессе мягко, — по-вашему выходит, что театр не должен существовать?

Но выяснилось, что из слов Поклена этого не выходит. Театр должен существовать. Это признает даже его величество, да продлит Господь его дни. Бургонской группе пожаловано звание королевской. Все

это очень хорошо. Он сам, Поклен, пойдет с удовольствием в воскресенье в театр. Но он бы выразился так: театр существует для Жана-Батиста Поклена, а никак не наоборот.

Поклен жевал поджаренный хлеб, запивал его винцом и громил деда.

Можно пойти и дальше. Если нельзя устроиться в труппе его величества — ведь не каждый же, господа, Бельроз, у которого, говорят, одних костюмов на двадцать тысяч ливров, — то отчего ж не пойти играть на ярмарке? Можно изрыгать непристойные шуточки, делать двусмысленные жесты, отчего же, отчего же!.. Вся улица будет тыкать пальцами!

— Виноват, я шучу, — сказал Поклен, — но ведь шутили, конечно, и вы?

Но неизвестно, шутил ли дед, точно так же, как неизвестно, что думал во время отцовских монологов малый Жан-Батист.

«Странные люди эти Крессе! — ворочаясь в темноте на постели, думал придворный обойщик. — Сказать при мальчишке такую вещь! Неудобно только, а следовало бы деду ответить, что это глупые шутки!»

Не спится. Придворный драпировщик и камердинер смотрит во тьму. Ах, все они, Крессе, такие! И покойница, первая жена, была с какими-то фантазиями и тоже обожала театр. Но этому старому черту шестьдесят лет. Честное слово, смешно! Ему орвветан надо принимать! Он скоро в детство впадет!

Забота. Лавка. Бессонница...

## Глава 4

### НЕ ВСЯКОМУ НРАВИТСЯ БЫТЬ ОБОЙЩИКОМ

А мне все-таки жаль бедного Поклена. Что же это за напасть, в самом деле! В ноябре 1636 года померла и вторая жена его.

Отец опять сидит в сумерках и тоскует. Он станет теперь совсем одинок. А у него теперь шестеро детей. И лавка на руках, и поднимай на ноги всю ораву. Один, всегда один. Не в третий же раз жениться...

И, как на горе, в то же время, когда умерла Екатерина Флёретт, что-то сделалось с первенцем Жаном-Батистом. Четырнадцатилетний малый захирел. Он продолжал работать в лавке, — жаловаться нельзя, он не лодырничал. Но поворачивался как марионетка, прости господи, у Нового Моста. Исхудал, засел у окна, стал глядеть на улицу, хоть на ней ничего и нет — ни нового, ни интересного. Стал есть без всякого аппетита...

Наконец назрел разговор.

— Рассказывай, что с тобой? — сказал отец и прибавил глухо: — Уж не заболел ли ты?

Батист уперся глазами в тупоносые свои башмаки и молчал.

— Тоска мне с вами, — сказал бедный вдовец, — что мне делать с вами, детьми? Ты не томи меня, а... рассказывай.

Тут Батист перевел глаза на отца, а затем на окно и сказал:

— Я не хочу быть обойщиком.

Потом подумал и, очевидно решившись развязать сразу этот узел, добавил:

— Чувствую глубокое отвращение.

Еще подумал и еще добавил:

— Ненавижу лавку.

И чтобы совсем доконать отца, еще добавил:

— Всем сердцем и душой!

После чего и замолчал.

Вид у него при этом сделался глупый. Он, собственно, не знал, что последует вслед за этим. Возможна, конечно, плюха от отца. Но плюхи он не получил. Произошла длиннейшая пауза. Что может помочь в таком казусном деле? Плюха? Нет, плюхой здесь ничего не сделаешь. Что сказать сыну? Что он глуп? Да, он стоит как тумба, и лицо у него тупое в этот момент. Но глаза как будто не глупые и блестящие, как у Марии Крессе.

Лавка не нравится? Быть может, это ему только кажется? Он еще мальчик, в его годы нельзя рассуждать о том, что нравится, а что не нравится. Он просто, может быть, немножко устал? Но ведь он-то, отец, еще больше устал, и у него-то ведь помощи нет никакой, он поседел в заботах...

— Чего же ты хочешь? — спросил отец.

— Учиться, — ответил Батист.

В это мгновение кто-то нежно постучал тростью в дверь, и в сумерках вошел Луи Крессе.

— Вот, — сказал отец, указывая на плоеный воротничок, — он, извольте видеть, не желает помогать мне в лавке, а намерен учиться.

Дед заговорил вкрадчиво и мягко. Он сказал, что все устроится по-хорошему. Если юноша тоскует, то надо, конечно, принять меры.

— Какие же меры? — спросил отец.

— А в самом деле отдать его учиться! — светло воскликнул дед.

— Но позвольте, он же учился в приходской школе?

— Ну что такое приходская школа! — сказал дед. — У мальчугана огромные способности...

— Выйди, Жан-Батист, из комнаты, я поговорю с дедушкой.

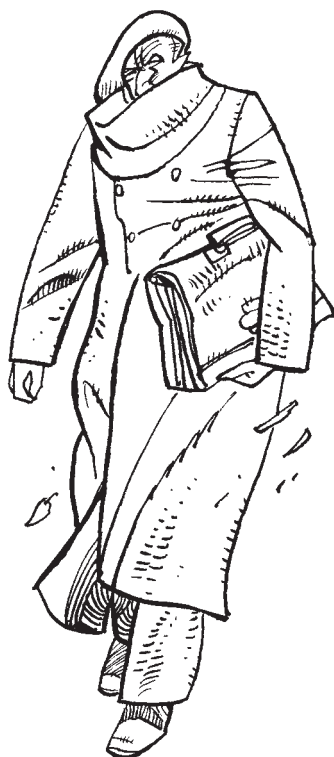
Жан-Батист вышел. И между Крессе и Покленом произошел серьезнейший разговор.

Передавать его не стану. Воскликну лишь: о, светлой памяти Людовик Крессе!

---

# ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА (ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН)

---



## ПРЕДИСЛОВИЕ

**П**редупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.

Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весной прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.

В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания.

Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, выправил их, подписал своим именем и выпустил в свет.

Странная, но предсмертная воля!

В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме — никого у него не осталось на этом свете.

И я принимаю подарок.

Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан.

Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия.

Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.

И наконец, третье и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпитаф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.

Этот эпитаф был:

«Коемуждо по делом его...»

И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало.

Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.

Итак...

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава 1

#### НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось.

В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно:

«Глубокопочитаемый  
Сергей Леонтьевич!

До крайности хотел бы познакомиться с Вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для Вас.

Если Вы свободны, я был бы счастлив встретиться с Вами в здании Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа.

С приветом *К.Ильчин*».

Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано:

«Ксаверий Борисович Ильчин  
Режиссер Учебной сцены  
Независимого Театра».

Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует Учебная сцена. О Независимом Театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был.

Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика.

Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я ни раздумывал, последнего понять не мог и, наконец, остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мною комнатой.

Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз что у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки.

Я вошел в резные чугунные ворота, увидел лавчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков.

Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно, давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете.

Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста, с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу.

— Вам кого, гражданин? — подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу.

— Мне нужно видеть режиссера Ильчина, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно.

Человек изменился чрезвычайно, и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.

— Ксаверия Борисыча? Сию минут-с. Пальтецо пожалуйте. Калошечек нету?

Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение.

Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска.

Здание молчало, нигде и никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел и что он, хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин.

И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась — за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел наконец Ксаверия Борисовича.

— Максудов, — сказал я с достоинством.

Тут где-то далеко за Москвой молния распорол небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.

— Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич! — сказал, хитро улыбаясь, Ильчин.

И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате, — даже пружина в нем торчала там же, где у меня, — посередине.

Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно, в сумерках грозы, рисовался рояль?

И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:

— Я прочитал ваш роман.

Я вздрогнул.

Дело в том...

## Глава 2

### ПРИСТУП НЕВРАСТЕНИИ

Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в «Пароходстве», я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман.

Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война... Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность — дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал — что случилось?

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?

— Это приступ неврастения, — объяснил я кошке. — Она уже завелась во мне, будет развиваться и словет меня. Но пока еще можно жить.

Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под



неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.

Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен.

Днем я старался об одном — как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу... Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место.

Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.

— Боже! Это апрель! — воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: «Конец».

Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немало одичал. Но брился ежедневно.

Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул — впервые, кажется, за всю зиму — сном без сновидений.

Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа!

Однако мною овладел соблазн, и, выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из «Пароходства», рабочие, как и я, люди, их жены и двое литераторов. Один — молодой, поражавший меня тем, что с недостижимой ловкостью писал рассказы, и другой — пожилой, выдавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасною сволочью.

В один вечер я прочитал примерно четверть моего романа.

Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были братски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы.

— Язык! — вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью), — язык, главное! Язык никуда не годится.

Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы.

— Метафора! — кричал закусивший.

— Да, — вежливо подтвердил молодой литератор, — бедноват язык.

Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки.

— Да как же ему не быть бедноватым, — вскрикивал пожилой, — метафора не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Голо! Помните это, старик!

Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел.

Расходясь, условились опять прийти ко мне. И через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию. Вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич».

— Язык ни к черту! Но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей.

На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор — с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую, и последнюю часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из «Пароходства» попривыкли к разросшемуся обществу и высказали и свои мнения.

Один сказал, что семнадцатая глава растянута, другой — что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то и другое было справедливо.

Четвертое, и последнее, чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно — выражение испуга, почему-то не покидавшего ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке.

Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура.

Я впервые услышал это слово и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет.

Начала одна дама (потом я узнал, что она тоже была разведенной женой). Сказала она так:

— Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?

— Ни-ни-ни! — воскликнул пожилой литератор, — ни в каком случае! Об «пропустить» не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться — не пропустят.

— Не пропустят! — хором отозвался короткий конец стола.

— Язык... — начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил:

— К чертям язык! — вскричал он, накладывая себе на тарелку салат. — Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется! Вот уж никак не ожидал, но!.. содержание!

— М-да, содержание...

— Именно содержание, — кричал, беспокоя няньку, пожилой, — ты знаешь, чего требуется? Не знаешь? Ага! То-то!

Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича:

— В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте! Лукав он, шельма! С подковыркой человек!.. А? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине? То-то!..

— Во-первых, что это за такие слова, — начал было я, испытывая мучения от его фамильярности.

— Ты меня прежде поцелуй, — кричал пожилой литератор, — не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ! Нет, брат, не простой ты человек!

— Конечно, не простой! — поддержала его вторая разведенная жена.

— Во-первых... — начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло.

— Ничего не во-первых! — кричал пожилой, — а сидит в тебе достоевщина! Да-с! Ну, ладно, ты меня не любишь, бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренне и желаем добра! — Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях. — И говорю я тебе прямо, — продолжал пожилой, — ибо я привык всем резать правду в глаза, ты, Леонтьич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях. Ты мне верь! Я человек большого, горького опыта. Знаю жизнь! Ну вот, — крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели, — поглядите: смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение! Леонтьич! — взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука, — пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа (тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд), чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!

— Ты п-пойми, пойми, пойми! — запел приятным тенором гитарист.

— И вот тебе мой сказ, — кричал пожилой, — ежели ты меня сей-

час не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел!

Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:

— Т-ты пойми, пойми...

Как кот, я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись.

Нянька с красными слезящимися глазами, наклонившись, пила воду, из-под крана в кухне.

Неизвестно почему, я протянул няньке рубль.

— Да ну вас, — злобно сказала нянька, отпихивая рубль, — четвертый час ночи! Ведь это же адские мучения.

Тут издали прорезал хор знакомый голос:

— Где же он? Бежал? Задержать его! Вы видите, товарищи...

Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки.

### Глава 3

#### МОЕ САМОУБИЙСТВО

— Да, это ужасно, — говорил я сам себе в своей комнате, — все ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное «пойми», вообще вся моя жизнь.

За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал, по стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий, но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения, что, мол, пропустят его или не пропустят. И ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав. Об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа.

Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописей было написано: «Не подходит». Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такою же точно надписью: «Не подходит».

После этого у меня умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до иступления. Три дня это продолжалось. На четвертый я застал ее неподвижной в углу на боку.

Я взял у дворника лопату и зарыл ее на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь.

А потом пошли осенние дожди, у меня опять заболело плечо и левая нога в колене.

Но самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец.

Всю жизнь служить в «Пароходстве»? Да вы смеетесь!

Всякую ночь я лежал, тараща глаза в тьму кроватную, и повторял — «это ужасно». Если бы меня спросили — что вы помните о времени работы в «Пароходстве», я с чистой совестью ответил бы — ничего.

Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это все.

— Это ужасно! — повторил я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.

Бессонница дала себя знать недели через две.

Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где проживал в одном из домов, номер которого я сохранию, конечно, в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду своих занятий на ношение оружия.

При каких условиях мы познакомились, неважно.

Войдя в квартиру, я застал моего приятеля лежащим на диване. Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда браунинг, потом напился чаю и уехал к себе.

Было около девяти часов вечера. Я приехал домой. Все было как всегда. Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нем тускло горела под потолком лампочка. Я вошел к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.

— Всё одно к одному, и всё совершенно правильно, — сказал я су-рово.

Я зажег керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: «Сим сообщаю, что браунинг № (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфена Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, все, как полагается)». Подписался, лег на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабу Пелагею, пожилого и «Пароходство», повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т. д.

Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:

Но мне бог возвратит ли все?!

«Батюшки! «Фауст»! — подумал я. — Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал все громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!

«Сейчас, сейчас, — думал я, — но как быстро он поет...»

Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.

Дрожащий палец лег на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донесся тяжкий басовый голос:

— Вот и я!

Я повернулся к двери.

## Глава 4

### ПРИ ШПАГЕ Я

В дверь стучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне помешлось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, — подумал я, — не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке».

— Рудольфи, — сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина», Илья Иванович Рудольфи. Я поднялся с полу.

— А нельзя ли зажечь лампу? — спросил Рудольфи.

— К сожалению, не могу этого сделать, — отозвался я, — так как лампочка перегорела, а другой у меня нет.

Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов — вынул из портфеля тут же электрическую лампочку.

— Вы всегда носите лампочки с собой? — изумился я.

— Нет, — сурово объяснил дух, — простое совпадение — я только что был в магазине.

Когда комната осветилась и Рудольфи снял пальто, я проворно убрал со стола записку с признанием в краже револьвера, а дух сделал вид, что не заметил этого. Сели. Помолчали.

— Вы написали роман? — строго осведомился наконец Рудольфи.

— Откуда вы знаете?

— Ликоспастов сказал.

— Видите ли, — заговорил я (Ликоспастов и есть тот самый пожилой), — действительно, я... но... словом, это плохой роман.

— Так, — сказал дух и внимательно поглядел на меня.

Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили.

— Покажите, — властно сказал Рудольфи.

— Ни за что, — отозвался я.

— По-ка-жи-те, — раздельно сказал Рудольфи.

— Его цензура не пропустит...

— Покажите.

— Он, видите ли, написан от руки, а у меня скверный почерк, буква «о» выходит как простая палочка, а...

И тут я сам не заметил, как руки мои открыли ящик, где лежал злополучный роман.

— Я любой почерк разбираю, как печатное, — пояснил Рудольфи, — это профессиональное... — И тетради оказались у него в руках.

Прошел час. Я сидел у керосинки, подогревая воду, а Рудольфи читал роман. Множество мыслей вертелось у меня в голове. Во-первых, я думал о Рудольфи. Надо сказать, что Рудольфи был замечательным редактором и попасть к нему в журнал считалось приятным и почетным. Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Но, с другой стороны, роман ему мог не понравиться, а это было бы неприятно... Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном месте, теперь уж не состоится, и, следовательно, с завтрашнего же дня я опять окажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голове была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер.

Рудольфи между тем глотал страницу за страницей, и я тщетно пытался узнать, какое впечатление роман производит на него. Лицо Рудольфи ровно ничего не выражало.

Когда он сделал антракт, чтобы протереть стекла очков, я к сказанным уже глупостям прибавил еще одну:

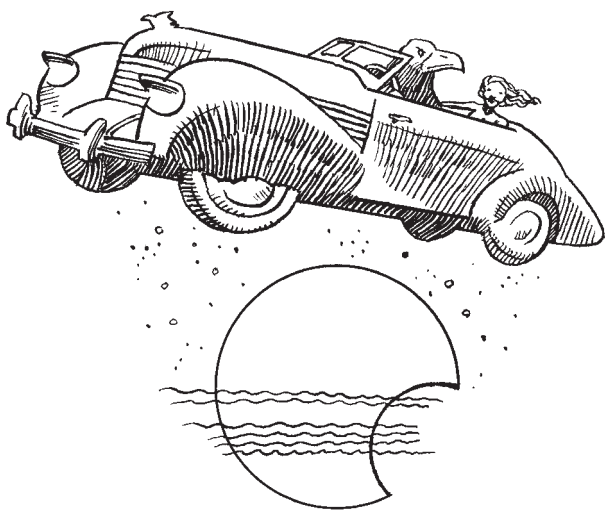
— А что говорил Ликоспастов о моем романе?

— Он говорил, что этот роман никуда не годится, — холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. («Вот такая сволочь Ликоспастов! Вместо того, чтобы поддержать друга и т. д.».)

---

# МАСТЕР И МАРГАРИТА

---





...так кто ж ты, наконец?  
— Я — часть той силы, что вечно хочет  
зла и вечно совершает благо.

*Гете. «Фауст»*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава 1

#### НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

**В** час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым делом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сирым голосом осведомился Бездомный.

- Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.
- А что есть? — спросил Берлиоз.
- Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.
- Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло паприкахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился... Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ невероятно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты черт! — воскликнул редактор. — Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было... — Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак...» — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора несколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот те-

перь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта.

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — избрительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал, — но Иисус у него получился, ну совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус.

Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в пятнадцатой книге, а главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, — есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую.

— Нет ни одной восточной религии, — говорил Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно было сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, — поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благодного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хро-

мал на правую ногу. Во второй — что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый.

Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин... — подумал Бездомный. — Ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

— Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Аттис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что я, не будучи знаком,

позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» — подумал Берлиоз.

«Поляк?...» — подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

— Разрешите мне присесть? — вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор: — Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«А какого черта ему надо?» — подумал Бездомный и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

— На все сто! — подтвердил тот, любя выразиться вычурно и фигурально.

— Изумительно! — воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Да, мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы — атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

— Ох, какая прелесть! — вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!

— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведомился Бездомный.

— За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» — и опять нахмурился.

— Но, позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз. — Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может.

— Bravo! — вскричал иностранец. — Bravo! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?»

— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

— Именно, именно, — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, — ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» — подумал он.

— Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза

и обращаясь к поэту, — отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

— А жаль! — отозвался задира-поэт.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чья неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец... он не иностранец... — думал он, — он престранный субъект... но позвольте, кто же он такой?..»

— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.

— Ну, «Нашу марку», — злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:

— «Наша марка».

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Тут литераторы подумали разное. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми, а!..»

Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.

«Надо будет ему возразить так, — решил Берлиоз, — да, человек смертен, никто против этого и не спорит. Но дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — помыслил Берлиоз и возразил:

— Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другою смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. — И скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался шить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семья...» — и громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

— А кто именно? Враги? Интервенты?



— Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, комсомолка.

— Гм... — промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, — ну это, извините, маловероятно.

— Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в Массолите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил иностранец.

— Это почему?

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.

— Простите, — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, — при чем здесь подсолнечное масло... и какая Аннушка?

— Подсолнечное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Бездомный, очевидно решив объявить незваному собеседнику войну, — вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

— Иван!.. — тихо воскликнул Михаил Александрович.

Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.

— Бывал, бывал, и не раз! — вскричал он, смеясь, но не сводя смеющегося глаза с поэта. — Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него. Иван Николаевич!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.

— О, с удовольствием! — воскликнул неизвестный. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, — он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет...

— Ты думаешь? — встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав...»

— Уж ты мне верь, — засипел ему в ухо поэт, — он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, — поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, — идем, задержим его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.

Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, — веско проговорил неизвестный, пронизательно глядя на обоих литераторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все...» — подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии — двойное «В» — «W».

— Очень приятно, — тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все трое вновь сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? — спросил Берлиоз.

— Да, консультантом.

— Вы — немец? — осведомился Бездомный.

— Я-то?... — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец... — сказал он.

— Вы по-русски здорово говорите, — заметил Бездомный.

— О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, — ответил профессор.

— А у вас какая специальность? — осведомился Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

«На тебе!..» — стукнуло в голове у Михаила Александровича.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — заикнувшись, спросил он.

— Да, по этой пригласили, — подтвердил профессор и пояснил: — Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я — единственный в мире специалист.

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.

— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор помянул обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

— Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения, — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего.

— Но потребуется же какое-нибудь доказательство... — начал Берлиоз.

— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...

## Глава 2

### ПОНТИЙ ПИЛАТ

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удер-

жавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.

— Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. — И так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда ни минутой, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появ-

лялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведа арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, не сильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обесмыслились.

Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором. Прозвучал тусклый, большой голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире.

— Знаешь ли грамоту?

— Да.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над маленьким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадают и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду...»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустился в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется... — арестант повернулся, прищурился на солнце, — ...позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень много человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим



или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьём, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

— Я не спросил тебя, — сказал Пилат, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — и арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач.

— Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — Тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобою, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма,

а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Га-Ноцри и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиной волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в гус-

тейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат. — Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — Но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что вся-

кая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Далее!

— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — Сорванный и больной голос Пилата разросся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копыя и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант:

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил:

— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — в него я верю.

— Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем... — тут голос Пилата сел, — это не поможет. Жены нет?— почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.

— Нет, я один.

— Ненавистный город... — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, — если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудею из Кириафа, право, это было бы лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратился к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись!

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. — Ко мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.

Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжелой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.

Затем перед прокуратором предстал светлорылый красавец с орлиными перьями в гребне шлема, со сверкающими на груди золотыми львиными мордами, с золотыми же бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве и в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат.

Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себастиийская когорта. Легат сообщил, что себастиийцы держат оцепление на площа-

ди перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.

Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них, под командою Крысобоя, должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский полк — сирийскую алу.

Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить во дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине.

Приказание прокуратора было исполнено быстро и точно, и солнце, с какою-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и, самое главное, с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотой драконовой чешуею вместо крыши — храмом Ершалаимским, — острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие не то стоны, не то крики.

Прокуратор понял, что там на площади уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Ершалаима, что эта толпа в нетерпении ожидает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные продавцы воды.

Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного зноя, но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может в канун праздника. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески.

Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор.

Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться

сегодня, приговорены трое разбойников: Димас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римскою властью, числятся за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речь идти не будет. Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи.

Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри.

Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил: — Синедрион просит отпустить Вар-раввана.

Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление.

Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с удивлением.

— Признаюсь, этот ответ меня поразил, — мягко заговорил прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения.

Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована.

В самом деле: преступления Вар-раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Вар-равван несравненно опаснее, нежели Га-Ноцри.

В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?..

Каифа сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана.

— Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.

— И в третий раз сообщаю, что мы освобождаем Вар-раввана, — тихо сказал Каифа.

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокуратора некому излечить; от



них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.

Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: «Бессмертие... пришло бессмертие...» Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.

— Хорошо, — сказал Пилат, — да будет так.

Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, душая и обжигая, самый страшный гнев — гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, — тесно мне!

Он холодной влажной рукой рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок.

— Сегодня душно, где-то идет гроза, — отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. «О, какой страшный месяц нисан в этом году!»

— Нет, — сказал Пилат, — это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. — И, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: — Побереги себя, первосвященник.

Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление.

— Что слышу я, прокуратор? — гордо и спокойно ответил Каифа. — Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игемон?

Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, осклившись, изобразил улыбку.

— Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юридивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его... из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да... если бы такой про-

ник сюда, он горько пожалел бы себя, в этом ты мне, конечно, пове-ришь? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, — и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм, — это я тебе говорю — Пилат Понтийский, всад-ник Золотое Копье!

— Знаю, знаю! — бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и продолжал: — Знает народ иудей-ский, что ты ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! Защитит его Бог! Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!

— О нет! — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему станови-лось легче и легче: не нужно было больше притворяться, не нужно бы-ло подбирать слова. — Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, самому импе-ратору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме пря-чете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для ва-шей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не водою! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать щиты с вензелями императора со стен, перемещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится! Вспомни мое слово: увидишь ты здесь, перво-священник, не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены го-рода полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница, то-гда услышишь ты горький плач и стенания! Вспомнишь ты тогда спа-сенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!

Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, по-добно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил:

— Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершала-им, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, куда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? — И тут Каифа грозно поднял руку: — Прислушайся, прокуратор!

Каифа смолк, и прокуратор услышал опять как бы шум моря, под-катывающего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум подни-мался снизу к ногам и в лицо прокуратору. А за спиною у него, там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное бряцание, — тут прокуратор понял, что рим-ская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмертный парад.

— Ты слышишь, прокуратор? — тихо повторил первосвященник. —

Неужели ты скажешь мне, что все это, — тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с его головы, — вызвал жалкий разбойник Вар-равван?

Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, холодный лоб, поглядел в землю, потом, прищурившись в небо, увидел, что раскаленный шар, почти над самой его головой, а тень Каифы совсем съезжилась у львиного хвоста, и сказал тихо и равнодушно:

— Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать.

В изысканных выражениях извинившись перед первосвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого сошествия, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью.

Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там ожидавшему его секретарю он велел пригласить в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет в сад и сам, и удалился внутрь дворца.

Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад.

Там в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор Иешуа Га-Ноцри, и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это — Вар-равван, прокуратор сказал:

— Очень хорошо, — и велел секретарю тут же занести это в протокол, сжал в руке поднятую секретарем с песка пряжку и торжественно сказал: — Пора!

Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выводящим на большую, гладко вымощенную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи ершалаимского ристалища.

Лишь только группа, выйдя из сада на площадь, поднялась на обширный, царящий над площадью каменный помост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке. То пространство, которое он только что прошел, то есть пространство от дворцовой стены до помоста, было пусто, но зато впереди себя Пилат площади

уже не увидел — ее съела толпа. Она залила бы и самый помост, и то очищенное пространство, если бы тройной ряд себастиийских солдат по левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую — не держал ее.

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке ненужную пряжку и шурясь. Шурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост.

Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а...» Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу вскипает пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром различимые, женские стоны. «Это их ввели на помост... — подумал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед».

Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.

И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.

Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуха в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов:

— Именем кесаря императора!..

Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик — в когортах, взбросив вверх копыя и значки, страшно прокричали солдаты: — Да здравствует кесарь!!

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул нелепый огонь, от него загорелся мозг. И над толпою полетели хриплые арамейские слова:

— Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни — повешению на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой Горе! Имена преступников — Дисмас, Гестас, Варраван и Га-Ноцри. Вот они перед вами!

Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.

Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:

— Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника Пасхи одному из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь!

Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновенье, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:

— Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу...

Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.

«Все? — беззвучно шепнул себе Пилат. — Все. Имя!»

И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он прокричал:

— Вар-равван!

Тут ему показалось, что солнце, зазвеневав, лопнуло над ним и залило его огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист.

Пилат повернулся и пошел по помосту назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиной на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо — как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук! Как легионеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой.

Он знал, что в это же время конвой уже ведет к боковым ступеням трех со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой Горе. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности — осужденных он видеть уже не мог.

К стону начинавшей утихать толпы примешались и были различными пронзительные выкрики глашатаев, повторявших одни на арамейском, другие на греческом языках все то, что прокричал с помоста прокуратор. Кроме того, до слуха его долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшая. Этим звукам ответил сверлящий свист мальчишек с кровель домов улицы, выводящей с базара на гипподромскую площадь, и крики «берегись!».

Солдат, одиноко стоявший в очищенном пространстве площади со

значком в руке, тревожно взмахнул им, и тогда прокуратор, легат легиона, секретарь и конвой остановились.

Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку под каменной стеной, по которой стлался виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой Горе.

Летающий рысью маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы — сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко крикнул и выхватил из ножен меч. Злая вороная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в туче пыли, запрыгали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся особенно смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами.

Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на солнце трубою за спиной.

Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцового сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой.

Было около десяти часов утра.

### Глава 3

#### СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— Да, было около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер.

Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники.

Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему.

«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. — подумал Бездомный в изумлении. — Ведь вот уже и вечер! А может быть, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?»

Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:

— Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.

— Помилуйте, — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, — уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на Евангелия как на исторический источник... — Он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам.

— Это так, — ответил Берлиоз, — но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле.

— О нет! Это может кто подтвердить! — начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно отозвался профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе.

Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него черт знает почему то пропадал, то появлялся:

— Дело в том... — тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, — что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший секрет!.. Тсс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил он.

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв.

«Вот тебе все и объяснилось! — подумал Берлиоз в смятении. — Приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарших. Вот так история!»

Да, действительно, объяснилось все: и страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказания о том, что голова будет отрублена, и все прочее, — профессор был сумасшедший.

Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал Бездомному — не противоречь, мол, ему, — но растерявшийся поэт этих сигналов не понял.

— Да, да, да, — возбужденно говорил Берлиоз, — впрочем, все это возможно!.. Даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное... А вы одни приехали или с супругой?

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА. МОРФИЙ . . . . .	5
Полотенце с петухом . . . . .	7
Крещение поворотом . . . . .	17
Стальное горло . . . . .	25
Вьюга . . . . .	32
Тьма египетская . . . . .	42
Пропавший глаз . . . . .	50
Звездная сыпь . . . . .	61
Морфий . . . . .	72
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ . . . . .	99
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ . . . . .	313
Необыкновенные приключения доктора . . . . .	315
Красная корона . . . . .	325
Китайская история . . . . .	330
Налет . . . . .	338
Богема . . . . .	344
Записки на манжетах . . . . .	350
В ночь на 3-е число . . . . .	382
РАССКАЗЫ . . . . .	393
Спиритический сеанс . . . . .	395
№ 13. — дом Эльпит-Рабкоммуна . . . . .	401
Чаша жизни . . . . .	408
Московские сцены . . . . .	412
Псалом . . . . .	417
Серия ноль шесть № 0660243 . . . . .	421
Воспоминание... . . . .	425
Ханский огонь . . . . .	430



Багровый остров . . . . .	443
Я убил . . . . .	457
Был май . . . . .	466
<i>ДЬЯВОЛИАДА (Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя)</i> . . . . .	469
РОКОВЫЕ ЯЙЦА ( <i>Повесть</i> ) . . . . .	501
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ( <i>Чудовищная история</i> ) . . . . .	561
ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА . . . . .	639
ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА ( <i>Театральный роман</i> ) . . . . .	781
ТАЙНОМУ ДРУГУ . . . . .	902
МАСТЕР И МАРГАРИТА . . . . .	925
<i>Светлана Голова. Послесловие</i> . . . . .	1241